



Иван Сеченов

Нужно иметь смелость,
чтобы лечить людей...

Сеченов



Записки врача

Иван Сеченов

**Нужно иметь смелость,
чтобы лечить людей...**

«Алисторус»

2018

УДК 821
ББК 84

Сеченов И. М.

Нужно иметь смелость, чтобы лечить людей... / И. М. Сеченов —
«Алисторус», 2018 — (Записки врача)

ISBN 978-5-907024-65-6

«Нужно иметь смелость, чтобы лечить людей, высказывать свои убеждения и бороться за них», – писал легендарный врач И. Сеченов. Надо признать, что создатель новой науки – физиологии, обладал не только смелостью, но и отвагой. Когда ему пришлось предстать перед судом за пропаганду излишнего материализма, он сказал: «Зачем мне адвокат? Я возьму с собой в суд лягушку и проделаю перед судьями все мои опыты: пускай тогда прокурор опровергает меня». Именно И. Сеченов доказал, что наши мысли и поступки – всего лишь результат работы нервных клеток в головном мозге. Впервые сделал детальный анализ крови. Стал автором теории о мышце как органе познания. Этот легендарный врач стал прототипом главных героев в романах «Отцы и дети» и «Что делать?». Предлагаемая книга представляет собой мемуары самого И. Сеченова, в которых описываются будни обычного врача, а также простым и легким языком рассказывается суть открытий ученого.

УДК 821

ББК 84

ISBN 978-5-907024-65-6

© Сеченов И. М., 2018

© Алисторус, 2018

Содержание

Записки русского профессора от медицины	6
Детство (1829–1843)	6
В Инженерном училище (1843–1848)	13
В Киеве, сапером (1848–1850)	21
В Московском университете (1850–1856)	26
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Иван Сеченов
Нужно иметь смелость,
чтобы лечить людей...

© ООО «Издательство Родина», 2018

Записки русского профессора от медицины

Детство (1829–1843)

Дед наш, дворянин Костромской губернии, Алексей Иванович Сеченов хотя и был зажиточный помещик, но детей учил на медные гроши, а сыновей, по господствовавшему в екатеринские времена обычаю, записывал в ранней юности в гвардейские полки. Таким образом, отец мой Михаил Алексеевич, младший из сыновей, был сержантом в Преображенском полку, служил при Матушке-Екатерине и дослужился до чина секунд-майора.

В детстве мне случалось видеть бумагу (вероятно, указ об отставке отца) с размашистой подписью «Екатерина», которую отец целовал каждый раз, как бумага попадала ему в руки. По смерти Алексея Ивановича он получил в наследство небольшое имение в Костромской губернии и значительно большее в Симбирской губернии, Курмышского уезда, купленное некогда митрополитом Димитрием Сеченовым и переданное им в род. Здесь отец мой и поселился, выйдя в отставку, на удобную при крепостном праве жизнь российского помещика, и здесь же (в с. Теплом Стане) родилась вся семья его детей: 5 братьев и 3 сестры.

Я самый младший в семье. Переселение отца из Костромской губернии в Симбирскую произошло, сколько я понимаю, по той причине, что он был лошадиный охотник, и хлебное черноземное симбирское поместье давало ему возможность устроить небольшой конский завод, что было бы в Костромском имении невозможно. Как бы то ни было, но всю свою долголетнюю жизнь в деревне он интересовался одним только конским заводом, в поля не заглядывал, от коронной службы уклонялся, по дворянским выборам не служил и даже ни разу не съездил в Симбирск на дворянские выборы. Личных воспоминаний об отце у меня сохранилось очень мало – одни лишь чисто внешние отрывочные черты, потому что он умер, когда мне было 10 лет. Помню его седым стариком, в его ежедневном домашнем костюме (мягкие сапоги, черные плисовые штаны и фуфайка вроде куртки) и в венгерке по праздникам, с трубкой в зубах (помню даже мундштук его чубука); помню, как он ежедневно, после утреннего чая, ходил на конный двор и собственноручно из ларя отмеривал лошадям овес гарнцами, а затем смотрел, как выводили лошадей на водопой; помню, что еще при его жизни я выучился играть на бильярде и немилосердно обыгрывал отца, очень плохого игрока, когда ему случалось играть со мной от скуки. На нас, детей, он мало обращал внимания; по крайней мере я не помню ни единого случая, когда бы он приласкал меня или которую-нибудь из сестер¹. Но, с другой стороны, не помню также и случаев, чтобы он на нас сердился или кого-нибудь наказывал. Не имея образования, он, однако, сознавал его важность и внушал нам, детям, что мы должны относиться к своим учителям и учительницам, как к своим благодетелям. Гувернантка в нашем доме была равноправным членом семьи, за обедом сидела на почетном месте и называла старика отца папенькой. Впоследствии я узнал из рассказов, что он отличался бескорыстием и большой честностью; крестьян не притеснял; погорельцам строил избы; в неурожай раздавал хлеб; но вместе с этим не брезговал пользоваться, помимо барщины, заведенным в тех местах порядком брать ежегодно от мужиков по барану с тягла, а с крестьянок – известное количество пряжи. Жил он непритворно и крайне дешево «на всем своем» – последнее благодаря тому, что держал большую дворню. Пока все дети были малы, он, при его умеренном образе жизни, был настолько богат, что выстроил в селе почти исключительно на свои деньги

¹ Дело в том, что в эти годы все старшие братья были уже вне дома и в деревне оставались со стариками только сестры да я.

большую каменную церковь и двухэтажный деревянный дом в 20 комнат, с небольшим садом по заднему фасаду.

Моя милая, добрая, умная мать была красивая в молодости крестьянка, хотя в ее крови, по преданию, была через прабабку примесь калмыцкой крови². Перед женитьбой отец отправил ее в какой-то женский Суздальский монастырь для обучения грамоте и женским рукоделиям. На ее руках была обычная половина домового хозяйства, но в семье, при жизни отца, голос ее слышался очень редко. К тому же и она не была ласкова к детям; поэтому я узнал ее и полюбил уже в зрелом возрасте, когда по выводе в отставку из военной службы прожил более полугодом у нее в деревне. В детстве же больше отца и матери я любил мою милую няньку Настеньку, которую по ее летам и положению в доме вся прислуга величала полным именем Настасьи Яковлевны. Она меня ласкала, водила гулять, сберегала для меня от обеда лакомства, брала мою сторону в пререканиях с сестрами и пленяла, вероятно, больше всего сказками, на которые была большая мастерица. Ложась спать, я из-за сказок нередко переселялся к ней на постель, и когда случалось, что мешал ей спать, требуя повторения рассказов, она – это она рассказывала мне сама, когда я был отставным офицером – начинала сказку о том, как некий царь, задумав выстроить костяной дворец, велел со всего царства собрать кости и положить их для размочки в воду. С этими словами она умолкала, а когда я спрашивал, что же дальше, то получал в ответ: «Рассказывать, батюшка, нечего – кости еще мокнут, не размокли», – чем я, по ее словам, и удовлетворялся.

Семья наша, по возрастам детей, распалась на три группы. Два старших брата и старшая сестра, погодки Алексей, Александр и Анна, выбыли из семьи, когда я еще не родился. Братья кончили курс в Демидовском лицее, а сестра – в пансионе. Братьев отец, как военный человек и лошадиный охотник, пустил в гусары; а сестру, по окончании ученья, вернул домой, где она и стала обучать третью группу, двух меньших сестер, Варвару и Серафиму, и меня грамоте. В это время два средних брата, Рафаил и Андрей, учились в нашем уездном городе и оттуда поступили в Казанскую гимназию. Таким образом, все свое детство я рос в деревне товарищем двух младших сестер. При жизни отца была речь о том, чтобы и меня отдать в Казанскую гимназию; но по его кончине мать почему-то удержала меня до 12 лет дома (вероятно, рассчитывая приготовить меня дома не в самый низший класс); а в это время старший брат, гусар, уже офицер, познакомился в Москве с семейством, членом которого был инженер, и, узнав из его рассказов о выгодах инженерной службы и дешевизне образования, получаемого в Главном инженерном училище³, настоял у матери, чтобы меня отдали туда. Благодаря этому я продолжал учиться в деревне до 14-го года. Обстоятельство это имело очень важное значение для моей будущности – из всех братьев я один выучился в детстве иностранным языкам. Дело в том, что родители не считали нужным обучать им дома мальчиков, полагая, что они научатся языкам в школе; а для девочек считали такое обучение необходимым. С этой целью в доме нашем, за год до смерти отца, появилась, ради сестер, смолянка, Вильгельмина Константиновна Штром, знавшая французский и немецкий языки; и меня, уже, кстати, в придачу к сестрам, отдали ей на руки.

До приезда гувернантки и некоторое время после ее приезда меня обучал закону Божию, арифметике, русскому и латинскому языкам молодой священник из соседнего села Атяшева, отличавшийся, однако, не столько потребными для учительства знаниями, сколько приятной внешностью, веселым нравом и умением держать себя в дворянском обществе. Насколько могу припомнить его уроки, знания его в арифметике не заходили за пределы начальных действий, а в латыни учителем моим был не он, а латинская грамматика Кошанского, так как вся моя

² Из всех братьев я вышел в черную родню матери и от нее же получил тот облик, благодаря которому Мечников, возвратясь из путешествия по Ногайской степи, говорил мне, что в этих палестинах что ни татарин – вылитый Иван Михайлович.

³ В те времена плата за все содержание воспитанников, вместе с обучением в течение 4 лет, состояла из единовременного взноса 285 руб., причем воспитанник при выходе в офицеры получал даром всю обмундировку, за исключением сюртука и шинели.

задача заключалась в заучивании преподанных в ней правил склонения и спряжения по указанию учителя: «от сих до сих». Наоборот, учение языкам у Вильгельмины Константиновны шло очень удачно благодаря тому, что именно грамматика была на заднем плане. Классные занятия по языкам заключались в том, что мы ежедневно заучивали по одному глаголу, списывая его с книги; затем делали маленькие переводы с иностранного языка на русский и наоборот. Кроме того, с первого же года она заставляла нас говорить и вне класса не иначе, как на иностранных диалектах. Вильгельмина Константиновна оказала мне истинное благодеяние, научив меня обоим языкам настолько, что я не забыл их за время пребывания в инженерном училище (где обучение языкам было не важно) и мог пользоваться этими знаниями во время студенчества⁴.

Учился я, должно быть, легко, потому что меня часто отпускали из класса раньше сестер и никогда не наказывали, тогда как сестра Серафима сживала нередко (по обычаю, вынесенному Вильгельминой Константиновной из Смольного) в бумажном колпаке с надписью «за леность».

К чтению у меня с детства была большая охота, но книг для детского чтения в то время и в помине не было. Помню только Конька-Горбунка (почему-то в рукописи), сокращенного Робинзона с картинками и какое-то иллюстрированное издание Священной истории, которое мы с сестрой Серафимой иллюстрировали, покрывая лица святых красной краской, а лица библейских грешников и злодеев – зеленой. Не могу не вспомнить по этому поводу, что иногда Настенька делала мне из своей косы рисовальные кисточки. Позднее, вероятно, под влиянием Александра, скудная библиотека Теплого Стана стала пополняться. Он был большой поклонник Марлинского, перешел, вероятно, поэтому тотчас по смерти отца из гусаров на Кавказ линейным казаком и считался в семье чуть не литератором, потому что посылал с Кавказа письма с литературным пошибом. Как бы то ни было, но у нас завелся Пушкин, Жуковский, Марлинский, Загоскин и Лажечников. Вероятно, под влиянием разговоров в семье любимым автором моим был Марлинский, и его я прочитал от доски до доски. Знаю, наверное, что читал все повести Пушкина, знал почти наизусть одну из его сказок, читал «Руслана» и «Евгения Онегина» (издание с картинками); но стихами не восхищался и, должно быть, предпочитал Пушкину «Юрия Милославского», «Ледяной дом» и «Новика». Читалось все без руководства и указаний литературно образованного человека; поэтому перлами создания казались мне такие вещи, где героями являлись лица, совершившие какие-либо подвиги. Впрочем, вкус к таким героям сохранился у меня и в более зрелом возрасте, когда я познакомился с Вальтером Скоттом и Купером. Гоголя у нас в деревне не было; но его «Мертвые души» мне удалось слышать вскоре по их выходе в свет в чтении большого приятеля нашего дома, курмышского судьи Павла Ильича Скоробогатова. Он славился умением читать и, очевидно, любил читать в обществе.

Мальчик я был очень некрасивый, черный, вихрастый и сильно изуродованный оспой⁵; но был, должно быть, не глуп, очень весел и обладал искусством подражать походкам и голосам, чем часто потешал домашних и знакомых. Сверстников по летам мальчиков не было ни в семьях знакомых, ни в дворне; рос я всю жизнь между женщинами; поэтому не было у меня ни мальчишеских замашек, ни презрения к женскому полу; притом же был обучен правилам вежливости. На всех этих основаниях я пользовался любовью в семье и благорасположением знакомых, не исключая барынь и барышень.

Из знакомых всего ближе стояла к нам семья Бориса Сергеевича Пазухина: он – вдовец, две его дочери и воспитавшая их сестра его, Прасковья Сергеевна. Он был, сколько я знаю, единственный друг моего отца в тех краях. Видал я его редко, потому что он жил с семьей в

⁴ Незнание языков у большинства наших студентов представляет большое зло. Пора бы положить ему конец, изменив способ обучению языкам в средних учебных заведениях.

⁵ Родители, должно быть, не успели привить мне оспу. Она напала на меня на первом году и изуродовала меня одного из всей семьи.

60 верстах от нас и наезжал в наши края один раз в год, в начале ноября, к именинам отца, и поселялся тогда со своей семьей на некоторое время в соседнем с Теплым Станом имении его сестер, чтобы полевать с борзыми в наших унылых степных палестинах⁶. Помню я его очень смутно и знаю только из рассказов родных, что это был из ряда вон добрый человек, едва ли не наиболее образованный из курмышских помещиков; не держал ни дворни, ни придворных кружевниц и вышивальщиц; не пользовался ни поборами со своих подданных, ни карательными прерогативами помещичьей власти. По его смерти Прасковья Сергеевна переехала с обеими своими племянницами на постоянное жительство в свое имение, в двух верстах от Теплового Стана, и свидания обеих семей стали очень часты. Младшая племянница, Катя, была в отца – пылкая, веселая, искренняя, немного насмешливая, но очень добрая и такая же верная в дружбе, как ее отец. Она до конца жизни оставалась самым близким другом нашей семьи. Была она года на 4 старше меня, с виду уже совсем взрослая барышня, с милым и живым лицом. Относилась ко мне, может быть памятуя отца, очень ласково; была притом единственной барышней, которую я видел часто, и я в нее влюбился. Вероятно, сознавал, однако, что страсть моя покажется смешной и предмету, и окружающим; поэтому я сумел скрыть ее даже от сестер вплоть до отъезда из деревни в Петербург. Насколько сильно было это чувство, я не помню; не помню также никаких особенных эпизодов этой любви; не помню даже хорошенько лица и фигуры Кати; но чувствую и в настоящую минуту, что, будь она жива, она была бы для меня одним из самых дорогих существ на свете, более дорогим, чем второй предмет моей, уже не детской, любви.

Нельзя также не упомянуть добрым словом семьи Филатовых, с некоторыми членами которой мне приходилось встречаться дружески всю жизнь до самого последнего времени.

Одна половина Теплового Стана принадлежала моему отцу, а другая – более богатому, чем он, и более старому годами родоначальнику Филатовского рода Михаилу Федоровичу. Старик Филатов был садовод и пчеловод; полевым хозяйством совсем не занимался; всю весну и лето жил в саду и на пчельнике (на осень и зиму вся семья переезжала в имение Пензенской губернии); в гости никуда не ездил; в церковь, несмотря на крайнюю набожность женской половины своей семьи, никогда не ходил; и по этой ли причине или потому, что управлявший имением приказчик из дворовых был крут с подчиненными, крестьяне его недолюбливали и подчас считали чуть ли не колдуном, потому что в холеру 48-го года в народе ходил слух, что ее наваял на Теплый Стан старик Филатов: его будто бы перед ее появлением видели, как он намахивал болезнью на село руками. Познакомился я с ним, будучи уже отставным офицером, когда он от старости начинал уже приходить в детство и, вероятно, стал смешивать воображаемое с действительностью, потому что, оставаясь умным человеком, рассказывал серьезно невероятные небылицы. Интересовавшегося его пчелами соседа он уверял, например, что раз у него отроился такой огромный рой, что, привившись к стоявшей перед садовым балконом черемухе, пригнул ее ветви к земле. Узнавши, что я имею намерение изучать медицину, он рассказывал мне, что сам шел по французскому и немецкому факультету (его собственные слова) и вздумал было изучать медицину; но не мог вынести вида трупов, за что был будто бы посажен в «канцыр», так как начальство думало, что он притворяется. Помимо этих странностей, Филатов был очень умный старик, рассуждавший очень здраво о текущих событиях и лицах, относив-

⁶ Как ни бедна Россия живописными видами, но местность, где я провел детство, принадлежит, я думаю, к наименее живописным. Черная, почти как уголь, земля, изрезанная в пологих впадинах оврагами, без единого деревца или ручейка на версты, с единственным украшением редких рошей, виднеющихся на горизонте в виде темных четырехугольников. Эта часть Курмышского уезда густо заселена татарами и мордвой. Приходом к нашей церкви была мордовская деревня Мамлейка; и в те времена я имел случай видеть в церкви мордвок в их национальных костюмах: белая длинная рубашка, выложенная на груди красным шнурком, бахромистый пояс под брюхо; ожерелье из белых ракушек и очень уродливый головной убор в виде наклоненного вперед полуцилиндра с подвешенными к его основанию пробуравленными серебряными пяточками. Теперь тамашняя мордва слилась с русскими до неузнаваемости.

шийся не без иронии к властям и вместе с тем очень приветливый и галантерейный⁷ с дамами хозяин. Очень люблю и уважаю живущую по сие время, некогда пылкую и самоотверженную дочь его Наталью Михайловну, воспитавшую племянника своего Нила Федоровича Филатова, одного из лучших профессоров Московского университета, к сожалению, так рано умершего.

На свете рядом с добром всегда живет зло; и рядом с описанными добрыми людьми в 7 верстах от Теплового Стана жила бездетная вдовья старуха А.П. П., бывшая в молодости, по ее собственным славам, большим аспидом. В мое детство она была, впрочем, в периоде замаливания грехов; и я ясно помню, с какими горячими слезами она молилась по воскресеньям в нашей церкви, куда была прихожанкой. Предание говорит, что, сокрушаясь о грехах и своей несправимости, она пыталась было извести себя, но выбрала, как оказалось, не совсем подходящее средство. Думая, что человек живет хлебом и что без хлеба вредна всякая вообще пища, особенно же жирная, она вздумала уморить себя едой без хлеба; но не уморила, а растолстела и, видя в этом наказание Божие за грех задуманного самоубийства, смирилась и стала замаливать грехи молитвой и добрыми делами. С этой целью она воспитала прежде всего дочь приходившегося ей как-то сродни священника, выдала ее замуж за Павла Ильича Скоробогатова, а по ее смерти воспитывала трех сыновей от этого брака. Замаливая таким образом грехи молодости, она не считала, однако, грехом держать в ежовых рукавицах всех своих подданных, в особенности же сенных девушек. Надсмотрщицей за ними у нее была экономка Екатерина Петровна Барткевич, вооруженная на сей предмет плеткой. Мужскому полу тоже не было спуска, благо стан и становой пристав были под рукой. Как могли уживаться в одном и том же человеке такое отношение к подчиненным и истинное сокрушение о грехах, понять в наше время очень трудно; но в те времена такое уживание никого не коробило – А.П. считали самовластной, подчас до самодурства, но вместе с тем истинной христианкой⁸. Старики наши водили с ней дружбу; она была даже крестной матерью моей старшей сестры и в мое детство обедала у нас чуть не каждое воскресенье, отстояв обедню в нашей церкви.

Была, наконец, в 30 верстах от нас и такая особа (Ф.Г.З.), которая довела своих подданных до того, что ее удушили.

Да, это было время отживших свой век в наших захолустьях современников Каратаева.

Закончу свои детские воспоминания описанием следующего эпизода, которому был очевидцем. Осенью, в молотьбу, одному нашему крестьянину Петру Бузино попало в ухо ячменное зерно и застряло в ушном проходе, должно быть поперек, так глубоко, что после тщетных домашних усилий он обратился за помощью к случившемуся у нас как раз в это время курмышскому уездному врачу Николаю Васильевичу Доброхотову. Набора с собою у доктора не было, и, по его указанию, наш жестяник согнул ему из печной проволоки щипчики с плоско расплюснутыми концами. Как ни старался бедный доктор вытащить зерно таким инструментом, но, конечно, не мог и придумал следующее: свернул бумажную ленту в трубку, один конец ее вставил пациенту в ухо, а другой зажег.

Предоставляю судить читателю, насколько процветала в те времена хирургическая помощь в нашем уезде; но не могу не прибавить, что бедному Борису Сергеевичу Пазухину пришлось умереть без нее в страшных мучениях от камня в пузыре.

В 1843 г. старший брат был в образцовом полку в Павловске и списался с матерью, что нашел военного инженера, взявшегося приготовить меня в полгода к поступлению в инженерное училище за 1800 р. ассигнациями. Поэтому в начале 43-го года я был отправлен в Петербург вместе с нашей гувернанткой В.К. – она к своей матери, а я к капитану Костомарову

⁷ Чрезмерно любезный (*устар.*)

⁸ Не могу не вспомнить по этому поводу моей двоюродной сестры, Анны Дмитриевны Тухачевской, которую я время от времени посещал в Москве в 50-х годах, будучи студентом. Это была пожилая и настолько благочестивая дама, что жила в Никитском монастыре, нанимая там квартиру. Она была неукоснительно убеждена в том, что мы, дворяне, происходим от Иафета, а крепостные – от Хама.

на полгода невыразимо однообразной, скучной, серенькой жизни. Дело в том, что учеников, кроме меня, у моего нового наставника не было; человек он был не экспансивный – за все время учения я не слышал от него ни единого ласкового слова, но и ни единого выговора – и большую часть дня он был вне дома, оставляя меня в обществе денщика и его супруги на безвыходное сиденье. Трудно поверить, что в течение всего полугодия (исключая воскресенье и праздник) я выходил на улицу только раз в неделю, вечером, в соседнюю баню; и один только раз он сводил меня сам на Невский к Доминику и угостил там расстегаем. День наш начинался в столовой чаем, за которым мы оба сидели большей частью молча; затем он давал в течение часа урок из арифметики, которую я у него действительно постиг. После этого он уходил на службу; а меня в полдень кормили завтраком. В 3 часа мы с капитаном за обед –стряпню жены денщика. Каковы были обеды, не помню; но из них я вынес впечатление, что патрон мой постоянно страдал отсутствием аппетита, потому что еле притрагивался к кушаньям.

После обеда он удалялся в свой кабинет, куда я ни разу вхож не был, а часов в 5 уходил до вечернего чая, служившего нам ужином. В 9 часов из стоявшего в моей комнате шкафа-кровати выдвигалась постель, и что происходило затем в доме – не знаю. Верно одно: гостей у капитана не бывало, и мое лежание в постели всегда окружала невозмутимая тишина. Два или три раза в неделю приходил, якобы учить меня русскому и французскому языкам, молодой подпоручик, кораблестроительный инженер с отвратительным французским выговором. Обучение заключалось в том, что он диктовал из книги и поправлял ошибки да давал по временам заучивать стихи. В памяти из его уроков у меня остались только весь «Мельник» Пушкина, отрывок из «Ермака» Рылеева и отрывок из пушкинского перевода стихов Мицкевича «Три у Будрыса сына»:

Нет на свете царицы краше польской девицы:
Весела – что котенок у печки,
И как роза румяна, а бела – что сметана;
Очи светятся, будто две свечки.

Изучение грамматики, истории и географии по принятым тогда для поступления в училище учебникам предоставлялось моему собственному усмотрению, с какой целью учебники эти всегда находились в моей комнате. Пользовался ли я, однако, ими, меня не спрашивали.

Не менее странен был и вступительный экзамен в училище. Происходил он в начале августа и длился, кажется, всего один день. Ясно помню, что лично для меня экзамен состоял в решении задач (рядом со мной сидел мальчик, желавший, чтобы я ему помог) и в письменных ответах по русскому и французскому языкам. Из истории же и географии никакого экзамена мне не было. Возможно, что аспирантам, подготовлявшимся к поступлению в существовавших тогда пригособственных пансионах, содержимым инженерами, делались при экзамене льготы; но возможно и то, что знаниям по истории и географии не придавалось значения.

Замечательно, что на душе у меня не было никакого неприязненного чувства к капитану Костомарову. На жизнь у него я не жаловался ни брату, ни моей прежней гувернантке, в семью которой ходил по воскресеньям и праздникам не только в эти полгода, но и во все время пребывания в инженерном училище, так как других знакомых, кроме этой семьи, в Петербурге у меня не было. Не зная городских нравов и не живя до тех пор между чужими, я думал, должно быть, что иной формы существования на чужбине и быть не может.

Семья Вильгельмины Константиновны состояла из ее младшей сестры Олимпиады, уже взрослой девицы, и прелестнейшей старушки матери, Эмилии Адольфовны, немки из Франкфурта-на-Одере, плохо говорившей по-русски и жившей на маленькую пенсию покойного мужа (эстляндца или лифляндца, капитана русской службы) и частную пенсию от графа Адлерберга, министра двора. Нет сомнения, что мать платила им и за меня, потому что они возили меня в

театр, давали денег на извозчиков и позднее, когда я выучился курить, на табак⁹. В праздники и по воскресеньям, кроме меня, к ним ходили два кадета, братья Михайловские. Старший из них, Николай Андреевич, будущий муж моей старшей сестры, был тогда на выпуске и учился так хорошо, что вышел офицером в гвардию, в Финляндский полк.

В маленькой гостиной семьи Штром очень часто происходили чтения вслух и разговоры по поводу прочитанного. Здесь я познакомился с русской литературой гораздо больше, чем в инженерном училище, где преподавателем словесности был старик Плаксин, не признававший Гоголя и ставивший выше всех Державина и Крылова. Для скромной семьи Штром, не имевшей никаких знакомых, кроме нас, трех мальчиков, воскресенья и праздники были, очевидно, праздничными днями. Эмилия Адольфовна самолично отправлялась тогда с кульком на Сенную за провизией, сама стряпала, и ее вкусные обеды, суп с фрикадельками, пирог с сигом и жареные рябчики, не в укор будь сказано костомаровским обедам, я не забыл и вспоминаю по сие время с большим удовольствием.

⁹ Вплоть до выхода в офицеры денег у меня в кармане никогда не было ни копейки.

В Инженерном училище (1843–1848)

Школу военных инженеров под именем Главного инженерного училища составляли 4 класса младших воспитанников, называвшихся кондукторами, и 2 офицерских класса. Учение в кондукторских продолжалось 4 года, и затем воспитанники производились в офицеры, с переходом в нижний офицерский класс. Кондукторов полагалось по штату 325 человек, и они образовывали так называемую кондукторскую роту, с ротным командиром (полковником) во главе и его 5 или 6 помощниками (обыкновенно из саперных офицеров) в роли надзирателей, дежуривших по очереди. При поступлении в училище мы тотчас же присягали и считались по закону юнкерами, состоящими на государственной службе, поэтому были избавлены от практиковавшихся тогда в кадетских корпусах телесных наказаний. Но, помимо этого, весь внешний военный режим был тот же, что в корпусах; первые два года воспитанники считались рядовыми; на 3-й год отличавшихся поведением и фронтовыми успехами награждали чином ефрейтора, с соответствующей нашивкой на погоне; а в старшем классе наиболее достойный из всех делался фельдфебелем; за ним, по нисходящему порядку достоинств, двое или трое производились в старшие – и большее число в младшие унтер-офицеры.

Должность фельдфебеля заключалась в том, что, когда воспитанники строились в колонну, чтобы идти на завтрак, на обед или в классы, он один оставался вне строя и командовал колонне идти налево или направо. Сверх того ежедневно по утрам ходил в квартиру ротного командира доносить, что в роте все благополучно. При этом он мог бы, конечно, доносить и многое другое; но в мое время наш командир, барон Розен, был такой честный человек, что едва ли стал бы терпеть доносы товарища на товарищей. Должность же унтер-офицеров была еще более легкая – они поочередно дежурили по роте и должны были только вставать утром раньше других, чтобы будить лентяев на вставанье. Впрочем, в молодости спится, как известно, очень крепко, а вставать приходилось в 5 часов утра, потому что в 7 часов кончался утренний завтрак¹⁰, после которого шли тотчас же в классы. Учебной частью заведовал инспектор (полковник), а превыше всех стоял начальник Главного инженерного училища (в первый год моего пребывания – генерал Шарнгорст).

Училище наше помещалось в главном корпусе бывшего дворца императора Павла (называвшегося поэтому Инженерным замком), по фасаду, обращенному к Летнему саду. Нижний этаж занимали спальни кондукторской роты, канцелярия, цейхгауз, рекреационная зала и квартира ротного командира; а в верхнем этаже молельная, комнаты кондукторских и офицерских классов. Помещение было, конечно, роскошное, комнаты высокие и светлые. На радость курильщиков, в печах очень высокого здания были такие сильные тяги, что куренье через выюшки не оставляло после себя никаких следов. Куренье было запрещено, но не строго преследовалось, нужно было только не попадаться на месте преступления и не дымить в комнате. Гимнастики не существовало; но пробегаться в свободные часы было где: из рекреационной залы был выход на довольно большой плац (по всему фасаду, обращенному к Летнему саду), куда нас пускали во все времена года. Во времена Николая нас, военных, приучали к холоду; единственным теплым платьем даже в 25-градусные морозы были ничем не подбитые шинели из темно-серого сукна (значительно более тонкое, чем солдатское), наушники на ушах и жесткие, набеленные мелом варежки на руках. В шинелях мы щеголяли, только выходя из училища; в стенах же его и зимой, во время игр на плацу, одеяние наше состояло из штанов серо-голубоватого цвета и куртки с погонами и стоячим воротником.

¹⁰ Кормили нас вообще не дурно, особенно по вторникам, где за обедом являлся сносный пирог с вареньем – подарок инженерному училищу из собственных средств великого князя Михаила Павловича; но за завтраком давали бурду, которой я не мог пить за все 4 года, – жиденький ячменный кофе, сваренный с молоком на патоке.

При училище была церковь и свой священник, с магистерским крестом, Розанов. Помню, что по вечерам он приходил иногда в наши дортуары для религиозных, ни для кого, впрочем, не обязательных собеседований; но учил ли он нас закону Божию, не помню, хотя утверждать противное не смею. Классы нумеровались снизу вверх: 4-й, 3-й, 2-й и 1-й. Математике обучали недурно: в низшем классе – арифметика; в следующем алгебра, геометрия и тригонометрия (сферической не учили); во 2-м классе аналитическая геометрия (без высшего анализа) и начертательная, со включением перспективы, теории теней и теории сводов; в старшем классе дифференциальное исчисление; в нижнем офицерском классе интегральное исчисление (преподаватель Остроградский)¹¹ и аналитическая механика. Стоит еще помянуть добрым словом уроки истории архитектуры, казавшиеся мне очень красивыми; красивое изложение новой истории преподавателем Шакеевым и истории французской литературы в старшем классе с очень хорошим учителем Courmand. Обучение главному предмету – фортификации – длилось все шесть лет, начинаясь с описания искусства вязать туры и фашины. Но к инженерному искусству, со всеми его аксессуарами, черчениями разного рода, душа у меня не лежала – моим любимым предметом в старшем классе была физика; и в доказательство того, что я занимался ею успешно, может служить то обстоятельство, что на публичном выпускном экзамене, происходившем в присутствии многих генералов, учитель физики выбрал для ответа меня. Помню, что он только что получил перед этим из Германии электромагнитную машину Штерера, обучал меня у себя на квартире ее управлению, и на экзамене я продуцировал все ее действия. Каждый из нас знал наперед, что будет отвечать, но с виду экзамен происходил по билетам, которые лежали на столе перед начальником инженеров, и экзаменующийся, после низкого поклона важному человеку, брал билет на его глазах из кучки. В нижнем офицерском классе любовь моя перешла на химию (читалась только неорганическая). Математика мне давалась, и, попади я из инженерного училища прямо в университет на физико-математический факультет, из меня мог бы выйти порядочный физик, но судьба, как увидим, решила иначе.

Распорядок дней был следующий. С 7 до 8 утра приготовительный класс без учителя; с 8 до 12 ч. – уроки; с 12 до 2 – рекреация. У кого были деньги, могли в эти часы покупать на свой счет в столовой булки с маслом и зеленым сыром и сладкие пирожки; а для неимущих выставлялась большая корзина с ломтями черного хлеба. Многие из нас, неимущих, зимой, когда топились печи, обращали эти ломти в сухари. Сушильнями служили печные трубы, и к вечеру лакомство было готово, чтобы хрустеть на зубах. В 2 часа был обед с пением молитв при начале и конце; с 3 до 6 часов после обеда опять классы. Стало быть, ежедневно 7 часов учения, за исключением пятницы, когда послеобеденные уроки продолжались только до 4 с половиной часов, так как в следующие за тем полтора часа производилось ротное учение, т. е. маршировка, различные построения по сигналам и ружейные приемы (ружья в мое время были еще кремневые). Вечером, до ужина, занятия были различные: в понедельник – фехтование для желающих; вторник – обязательные для всех танцы; среда – баня; четверг и пятница – весь вечер свободный; а в субботу в 6 отпущено по домам до 9 вечера воскресенья. Ужинали в 8, и в 9 – спать. Кто хотел заниматься после ужина, тому давалась сальная свечка, и заниматься можно было в умывальной хоть всю ночь. Кто предпочитал заниматься ранним утром, тот выкладывал на столик подле своей кровати число бумажек, соответствующее часу, когда его имел разбудить дежурный служитель. Бывали столики даже с двумя бумажками; но я не был в числе таких тружеников.

Подробностей моего первого знакомства с товарищами я не помню. Знаю только, что мне дали прозвище «деряба», но не обижали, хотя в училище были охотники мучить новичков

¹¹ В тот год, как я его слушал, читал он очень мало; время проходило большей частью в решении задач и в разговорах о походах Юлия Цезаря, Ганнибала и Наполеона. Нас, как математиков, он ценил, шутя, очень низко; по его словам, первый математик – Бог, потом великий Эйлер: ему он ставил высший бал – 12, себе – 9, а всем нам – «нуль».

и существовал даже дикий обычай наказывать их за провинности, конечно, пустые или даже мнимые, плеткой, против которого не протестовало почему-то и начальство, хотя не могло не знать об этой скверности. В мое время артистами по части плеточной расправы были Стратанович и Маркелов – выписываю нарочно их фамилии. Благодарю Бога, он избавил меня от рук этих дикарей и, вопреки своей фамилии, сечен я в жизни не был. Из событий первого года больше всего в памяти остались болезнь заушница (свинка), обучение фронту и бунт против начальства. Болезнь эту я помню из-за способов лечения оной училищным доктором, стариком Волькенштейном: он очистил меня сначала рвотным, а потом закатил такую дозу слабительного, что со мной сделался в лазаретном клозете обморок, всполошивший находившегося поблизости служителя, вероятно слышавшего шум моего падения. Не знаю, был ли я обязан этому эмпирическому лечению благоприятным исходом болезни, но опухоль разрешилась без перехода в нагноение.

Фронту учили новичков заслуженные унтер-офицеры гвардейского саперного батальона. Первые шаги в этой науке заключались в обучении умению стоять «навытяжку» и «вольно»; затем в умении плавно подымать то правую, то левую ногу для маршировки тихим шагом. Подобно тому, как все вообще военные экзерциции¹² производятся с короткими перерывами для отдыха, так и наши саперы давали нам время от времени «вольно»; и в один из таких промежутков учитель нашей партии, Кузьмин, рассказал нам в поучение, как учил их самих в Царском Селе фронтовому искусству теперешний император Николай Павлович, тогда великий князь. Он раздевал их в манеже догола, чтобы видеть настоящую выправку, и требовал от начальства, чтобы оно не давало солдатам спать скрючившись. Если начальство замечало такого, то разбудит и выбранит; раз, другой спустит, а потом – не прогневайся.

Бунт произошел по следующему случаю. Когда мы поступили в училище, в низшем классе оставался на другой год князь Е., мальчик не глупый, но отличавшийся непобедимой ленью¹³. До нас дошли слухи, что родители его обратились к начальству с просьбой употребить для его исправления розги, что будто бы и было исполнено. Этот противозаконный поступок взволновал старших воспитанников, и решено было выразить протест главному начальнику, генералу Шарнгорсту: ответить всеобщим молчанием на его обычное приветствие при первой же встрече, что и было пунктуально исполнено. За это фельдфебель Зейме был лишен своего звания; всех нас осудили на сидение по воскресеньям и праздникам в училище в течение года, и вскоре затем генерал Шарнгорст удалился, и на его место был назначен Ламновский. Затеявая этот протест, нашим старшим, терпевшим в своей среде плеточную институцию, следовало бы иметь в виду, что у них самих рыльце в пуху, или, по крайней мере, отменить эту гадость после протеста, но этого не случилось.

К весне 1844 г. мы, новички, окончив курс ученья у саперов, поступили в ротный строй; и как только наступило тепло, началось веселое время приготовления к майскому параду. У себя дома ученья производились тогда чуть не ежедневно на открытом воздухе, и два раза назначались репетиции парада на плацу 1-го кадетского корпуса, вследствие чего мы имели немалое удовольствие проходить строем по Невскому на Васильевский остров. Здесь, кроме всех военно-учебных заведений, были собраны моряки, путейцы, горные и лесные – все, как следует, в военных мундирах с ружьями. Первый смотр делал генерал Шлиппенбах, а второй – великий князь Михаил Павлович, имевший терпенье проходить пешком по фронту всех заве-

¹² Экзерциция (*фр.* *exercice*, от *лат.* *exercitium* – упражнение) – упражнение в самом общем смысле, например, строевое или упражнение для игры на музыкальном инструменте (рояле).

¹³ Уловки, к которым он прибегал на экзамене из математики, достойны описания: на все трудные для него билеты он писал мельчайшим почерком на отдельных бумажках нужные по вопросу выкладки в том порядке, в каком придется писать их на доске, и прятал эти ответы на своей особе в следующем порядке: несколько билетов за галстук, 7 билетов в промежутке между пуговицами курточки, остальные в карманах штанов. Получив билет со стола экзаменатора, он уже знал по номеру, где отыскать ответ, и списывал его, стоя у доски.

дений и осматривать вблизи наш внешний вид. Это я хорошо помню по следующему случаю: проходя по нашему фронту, он ткнул пальцем в грудь воспитанника Попова со словами «уберите мне в заднюю шеренгу эту угрюмую физиономию». День майского парада был, конечно, еще более радостный: до сих пор помню чувство какого-то воодушевленного старания отличиться, когда рота наша проходила мимо государя. Притом же после парада нас кормили парадным обедом и распускали по домам. Еще веселее был поход в Петергофский лагерь. После раннего обеда мы шли в походной форме, с ранцами за плечами, к Нарвской заставе. В 4 часа приезжал туда император и пропускал мимо себя все отправляющиеся в лагерь военно-учебные заведения. В Красном Кабачке был привал, где нас поили чаем и каждому давали булку с маслом и телятиной. С этого привала мы, инженеры, проходили на ночевку в какую-то чухонскую деревню, спали в избах на соломе и вставали утром очень рано, чтобы иметь до похода в Петергоф возможность покататься верхом на чухонских лошадаках (благо хозяева брали с нас недорого). Я страстно любил верховую езду и катался на чухонках с невыразимым наслаждением. При входе в Петергоф нас опять встречал и пропускал мимо себя император.

Лагерное поле в Петергофе представляло обширное, совершенно ровное луговое пространство. Вдоль всего фронта лагеря шла дорога, по которой проезжали, и довольно часто, только лица императорской фамилии. За этой дорогой, параллельно ей, шла так называемая линейка со значками заведений, при которых дежурили поочередно все воспитанники и вызывали всех «на линейку», как только по лагерной дороге проезжал кто-либо из царского семейства. Выбежав, мы строились и отвечали дружным «здравия желаем» даже маленьким членам фамилии, едва ли умевшим здороваться с нами.

В лагере нас баловали. Ученьями не мучили, так что свободного времени было вдоволь; кормили лучше, чем в городе, водили часто на взморье купаться; в будни позволяли ходить в гости к лагерным товарищам (мы водили дружбу только с артиллеристами); а по воскресеньям и праздникам пускали гулять маленькими партиями в дворцовый сад и даже в Александрию, где жила царская фамилия. Ежегодно, в какой-то важный царский день, была знаменитая иллюминация дворцовых садов; тогда водили нас гулять по залитым огнями аллеям большими группами офицеры. Кажется, в первый же год моей лагерной жизни в Петергофе с большим торжеством праздновалась свадьба великой княжны Ольги Николаевны. В одну из прогулок во время этих торжеств я помню пруд, по которому разъезжали изукрашенные огнями лодки с певцами, и лужайки, усеянные разноцветными огнями. Жаль одного: при лагере не было библиотеки, из которой воспитанники могли бы получать книги для чтения; а свободного времени было очень много, и девать его было некуда. Впрочем, и в городе дело обстояло в этом отношении не лучше: училищная библиотека, конечно, существовала, но мы не знали даже, где она помещается. Уроки нам диктовали, и мы экзаменовались по запискам.

Учился я недурно, по фронту преуспевал; поэтому с переходом во 2-й класс получил даже на погоны ефрейторскую нашивку; но в том же году совершил два проступка – один глупо-ребяческий, а другой, неприглядный по выполнению, хотя и вышедший из побуждений, казавшихся мне хорошими.

Не знаю почему, но штатские учителя немецкого языка не пользовались у нас со стороны воспитанников уважением, особенно же учитель в 3-м классе Миллер, не умевший держать себя с достоинством и трепетавший перед начальством. Особенно боялся он великого князя Михаила Павловича; и раз в приезд последнего мы были свидетелями, как бедный Миллер, бледный и растерянный, чуть не дрожал от страха. Отсюда возник мой первый глупый поступок. Раз как-то, в час, когда Миллер учительствовал в 3-м классе, а в нашем 2-м (комнаты были рядом) учителя не было, и между 16-летними разумниками возникла мысль попутать Миллера. Я взялся изобразить великого князя; на лицо мне надели почему-то маску с прорезями для глаз и носа; отворили с шумом и словами «идет великий князь» дверь в 3-й класс, и я вошел туда при громком смехе товарищей. На шум тотчас же прибежал дежурный офицер,

сорвал с меня маску и отвел раба божьего в карцер на хлеб и на воду. Карцер у нас был отвратительный – темный, отгороженный от так называемой дежурной комнаты угол, без всякой мебели и даже без постели. Арестанта одевали в старые затасканные штаны и куртку и давали только подушку, так что спать приходилось на голом полу. Хорошо еще, что под дверью была щель, через которую товарищи приносили заключенному съестное подавание, иначе сидение в таком месте в течение нескольких дней было действительно жестоким наказанием. Долго ли я сидел, не помню; но вышел оттуда уже без ефрейторских нашивок – разжалованным.

Теперь о другом деянии. В закрытых заведениях, вследствие ежедневного соприкосновения с начальством, воспитанники имеют возможность подмечать в начальниках выдающиеся черты характера да многое могут и слышать о них вне стен заведения в своей семье или от знакомых. Отсюда расположение к одним и нелюбовь к другим. Так, общим любимцем был добрый, шутивно-повелительный полковник Скалон, приходивший на дежурство в мундире гвардейских саперов с бархатными отворотами. Его встречали не иначе, как целуя в бархатную грудь. Ротного командира, барона Розена, несмотря на его несколько суровый вид и неласковость, любили, уважали и знали, что он прямой, честный человек, а нового главного начальника из-за манеры его обращения и слухов извне невлюбили. В придачу к этому с первого же года его поступления стали ходить между нами слухи, что он ввел шпионство в училище, даже указывали на воспитанника, занимавшегося этим ремеслом. Нравиться такое нововведение, конечно, не могло, и я решился, не говоря никому из товарищей ни слова, написать генералу в один из отпусков чужой рукою письмо, в котором выставлялась неблагоприятность учреждения и предостережение в следующей, как я помню, форме: «Смотрите, Ваше превосходительство, не все коту Масленица, придет и Великий пост». Храбрости подписать под письмом свое имя, однако, не хватило. Я молчал очень долго, но наконец не вытерпел – вероятно, считал свой храбрый поступок из-за угла подвигом – захотел поделиться славой подвига с товарищем. Как случилось, что таким товарищем оказался воспитанник Б., с которым я не водил особенной дружбы, не помню; но знаю достоверно, что секрет открыт был только ему. Тем не менее вскоре после моей беседы с Б. на меня налетел врасплох называвшийся «гвоздем» дежурный офицер-надзиратель со словами: «Так вот какие вы пишете пасквили на начальство». Издавна приготовившийся к отпору на такое нападение, я не смутился, посмотрел на него недоумевающими глазами и ответил, что этим не занимался. Много ли, мало ли времени спустя барон Розен призывает меня к себе на квартиру и говорит: «Что вы, сударь, наделали, вы написали ругательное письмо начальнику». Барон не мог, конечно, не допросить меня, раз ему донесено было надзирателем по начальству; но я уверен, он был очень рад, когда я спокойно отклонил это обвинение, потому что не стал допытываться и тотчас же отпустил меня. С тех пор на несколько месяцев история канула в воду. Великим постом прихожу на исповедь к нашему священнику Розанову, и он спрашивает меня между прочим, писал ли я письмо начальнику. – «Да». – На вопрос, что было написано в письме, я прочитал ему наизусть все от слова до слова. После причастия нас обыкновенно собирали в рекреационной зале; приходил генерал и поздравлял нас с принятием Св. тайн. На этот раз, после поздравления, он вызывает меня перед фронт – выхожу и думаю: пропал – вместо того слышу следующие слова: «Ради торжественного для вас дня прощаю вам проступок, из-за которого вы лишились ефрейторского звания, и возвращаю вам это звание». Что это такое было, отпущение мне более тяжелого моего греха или прикрытие греха священника, сказать не могу, но думаю, скорее последнее, судя по тому, что в нашем генерале не было джентльменства и впоследствии.

В старшем классе я был сделан унтер-офицером (т. е. получил по военным обычаям родчина, дающего некоторую власть над младшими воспитанниками) и опять провинился перед генералом. В этом году произошла по какой-то причине драка между воспитанниками 2-го и 3-го классов, и в наказание за это их лишили права пить по вечерам в столовой собственный чай. Мера эта, конечно, строго соблюдалась дежурными офицерами, но от нее ускользал сын

начальника, бывший тогда в 3-м классе. С 6–7 ч. вечера он, и до этой истории, постоянно уходил на квартиру родителей, где, конечно, получал какое-нибудь угощение, и сохранил эту привычку после истории, когда его товарищи были осуждены по вечерам на ломти черного хлеба. Нам, старшим, это обстоятельство показалось делом несправедливым, и я от лица старшего класса запретил воспитаннику Ламновскому ходить по вечерам домой к отцу. За это никаких непосредственных мероприятий против меня не последовало, но генерал не забыл этого происшествия. Учился я недурно и в этом выпускном классе унтер-офицер был исправный, ни в каких других проступках замечен не был и даже пользовался некоторым расположением барона Розена.

В лагерный сбор этого года нашему хорошему честному барону Розену пришлось испытать большое горе. Задолго до лагерного сбора нашему училищу дали впервые небольшого размера понтоны, с прочими мостовыми принадлежностями, чтобы обучить нас собиранию понтонов и наводке моста. Собираанию понтонов мы выучились еще в городе; а в наводке моста упражнялись в Петергофе на речке узенькой и глубокой, протекавшей по Английскому саду. Когда же мы преуспели и в последнем искусстве, то стали ждать царского смотра понтонному учению. Беда случилась именно на таком смотре; но для того, чтобы понять, как она произошла, необходимо маленькое отступление.

Для фронтового ученья нас строили в 3 шеренги следующим образом: в передней ставили высоких ростом и в то же время хорошо умеющих делать ружейные приемы, так как эта шеренга была на виду; самых маленьких прятали в среднюю шеренгу; а в заднюю, наиболее закрытую от наблюдателя, попадали из крупных по росту самые плохие фронтовики. Кроме того, ружья у нас были не для стрельбы¹⁴, а только для вида, плохие, и у многих обывателей задней шеренги с заржавленными, туго вынимающимися шомполами, что при фронтовом ученье не составляло, однако, существенного изъяна, потому что обладателям таких ружей вынимать шомполов не было надобности – нужно было только, чтобы руки задней шеренги поднимались и опускались в такт с руками передней при мнимом зарядении. При понтонном же ученье строй был иной, по росту: в переднюю самые большие, следующие за ними в заднюю, и самые малые в среднюю. Стало быть, тогда в переднюю шеренгу попадали многие из обычных обитателей задней.

Итак, в один прекрасный и в высшей степени неудобный для училища день, притом не загодя, как бы следовало, а за 3–4 часа до смотра, пришел приказ, что в 6 вечера государь будет делать смотр понтонного ученья. День был удобен тем, что барон Розен был как раз в этот день в отпуску в Петербурге и вернулся в лагерь уже после того, как все было кончено. Пришли мы с фурами к речке, конечно с ружьями, и построились для понтонного ученья. В 6 ч. приехал государь один, без свиты, встал в 25 шагах перед нашей небольшой кучкой (всего 40 человек в ряд) и скомандовал: «Ружейные приемы!» В нескольких шагах от царя струсили бы, я думаю, закаленные в фронтовом искусстве субъекты, а тут перед его глазами стояло много таких, которые привыкли прятаться в задних рядах от глаз простого начальства. Струсил, конечно, и командовавший нами, за отсутствием полковника, штабс-капитан С. Фигура его была жалкая, командовал он каким-то сдавленным голосом. Приемы делались, видно, плохо, потому что государь все более и более хмурился и наконец не выдержал, когда дело дошло до зарядения ружей. У кого-то из передних не вынул шомпол; государь подбежал, вырвал у него из рук ружье, выдернул шомпол, бросил ему ружье назад и закричал: «Учить этих мерзавцев целую ночь на заднем плацу!» Тем смотр и кончился. Государь уехал, а нас свели учиться на задний плац. В 8 ч. наш полковник вернулся в лагерь, и я уверен, что воспитанники инженерного учи-

¹⁴ Во всех военно-учебных заведениях фронтовые ружья служили лишь для того, чтобы обучать внешнему умению обращаться с оружием; и во время фронтового учения мы делали только вид, что заряжаем ружье и палим. Для действительного стреляния назначались отдельные часы, вне фронтового учения: стреляли поодиночке друг за другом в цель.

лица ни в какие годы его существования не делали ружейных приемов с таким азартом, как мы в этот достопамятный вечер, под командой нашего полковника. Он хвалил нас ежеминутно и не ради утешения, а в самом деле, по всей справедливости. В 10 часов вечера пришел приказ из дворца прекратить ученье.

На нас этот смотр ничем не отразился; а на судьбу барона Розена остался, может быть, не без влияния. Будучи уже в этом году (1847) старым заслуженным полковником с Владимиром на шее, он так и не дослужился до генеральского чина и умер где-то в провинции командиром саперного батальона. Мир праху этого честного человека!

Лагери этого года были для инженеров, как читатель видит, не веселые; но за ними для нас, выпускных, готовилось в городе большое счастье: в день возвращения в город в дортуарах училища на наших постелях уже лежал заказанный перед летом офицерский костюм с эполетами (офицерских погон тогда еще не было, и я уверен, что погоны доставляют теперешним выпускным гораздо меньше удовольствия, чем эполеты). В жизни моей было немало радостных минут, но такого радостного дня, как этот, конечно, не было. Перестаешь быть школьником, вырываешься на волю, запретов более нет; живи, как хочется, да еще с деньгами в пустом до того кармане (на выход в офицеры мне, конечно, были присланы деньги из дому и в придачу бобровый воротник к будущей зимней шинели). Одно меня немного огорчало – не было еще усов; но я не преминул помочь этому горю и в первые же дни купил накладные и по вечерам щеголял в них по улицам. В первые же дни снял с себя для матери дагеротипный портрет в офицерском мундире (фотографирования на бумаге еще не было) и, наконец, настолько объелся сардинками, что не мог долгое время их видеть. Хорошо, что я не знал до этого времени сладостей кутежа¹⁵, иначе мог бы удариться, по данным характера, во многие тяжкие. Притом же мне удалось поселиться так, что не приходилось таскаться по трактирам. В двух флигелях одного и того же дома на Шестилавочной поселились пять товарищей, и в одном из флигелей я с Постельниковым и полковником Германовым. Постельникову, по обычаю того времени, прислали родители, при его производстве в офицеры, пожилого слугу, оказавшегося поваром. В нашей квартире была кухня, и этот добродетельный человек взялся кормить нас пятерых обедом и ужином по 7 руб. с человека. Для новоиспеченных прапорщиков обстоятельство это было важно еще в том отношении, что они получали всего 300 руб. в год жалованья. Жизнь в то время была, должно быть, дешевая, потому что при маленькой поддержке из дому я абонировался в сентябре в Большом театре на Итальянскую оперу, наслышавшись об ее чудесах от товарища Валуева, родители которого были абонированы в опере со времени ее появления в Петербурге. Абонировался я на двухрублевое место и получил самое скверное кресло в театре; но наслаждался на этом месте, вероятно, не менее счастливых, сидевших в бельэтаже.

Описывать повседневную жизнь этого года не стоит. Проходила она в кругу прежних товарищей; учиться приходилось по-прежнему; новых знакомств не завелось; дешевых увеселительных заведений в Петербурге тогда не было (был я, впрочем, один раз, в качестве зрителя, в танцклассе Марцинкевича), так что, когда улеглись на душе радости выхода с эполетами на свободу, жизнь стала казаться даже скучноватой. Одной усладой для меня была итальянская опера. Здесь развилась во мне оставшаяся доселе страсть к итальянской музыке; и здесь же восторги от пения Фреццолини перешли мало-помалу в обожание самой дивы. Приблизиться к ней у меня и помыслов не было – в течение этого года я уже имел случай убедиться, что мне, с моей изуродованной оспой татарской физиономией, иметь успех у прекрасного пола не суждено, – поэтому обожание происходило издали и не доставляло мне никаких мучений.

Перехожу теперь к моему прощанию с инженерным училищем.

¹⁵ В бытность в училище, куда я попал из дома мальчиком, не бывал нигде, кроме семьи Штром, где вкус к кутежам развиться не мог. Водки и вина там не водилось. Единственный кутеж происходил раза два в год, по большим праздникам, в виде так называемого глинтвейна с сахаром и корицей.

Судьба учившихся в нижнем офицерском классе, смотря по успехам в науках, доказанным на экзаменах, была тройкая: получившие в среднем 47 переходили в верхний класс подпоручиками; второй разряд туда же, без повышения чином, а третий выходил из училища тем же чином в армейские саперы. Учился я в этом году не так прилежно, как в прежние, но приналег к экзаменам и имел право надеяться на переход в верхний класс подпоручиком; но этого не случилось.

Главными инженерными предметами в нижнем офицерском классе были долговременная фортификация и строительное искусство. На экзамене из фортификации нужно было представить рисунок долговременного укрепления, и за него ставили баллы; в них ничего нового не полагалось – вычерчивалась и раскрашивалась какая-нибудь одна из известных систем укреплений. Кроме того, все немастера чертить и рисовать (к каким принадлежал и я) заказывали обыкновенно эти рисунки в чертежной инженерного департамента; и этот древний обычай не мог не быть известен начальству. Сверх всего прочего, капитан Андреев, будучи не менее страстным итальяноманом, чем я, встречаясь со мной в театре на одних и тех же представлениях, очень благоволил ко мне и частенько беседовал со мной не о крепостях, а о слышанных операх и их исполнителях. Как бы то ни было, заказанный мною для экзамена рисунок он подписал без всяких расспросов, не предчувствуя ожидавшего меня на экзамене сюрприза. Генерал Ламновский присутствовал на этом важном экзамене и, как только я представил рисунок, схватил циркуль и стал сверять размеры всех частей с приложенным к рисунку масштабом (чего я не делал). Злодей рисовальщик устроил мост через ров в 5 сажен вместо 3; это не ускользнуло от циркуля генерала, и он поставил мне за рисунок 15. Другими словами, сразу лишил меня возможности перейти в верхний класс подпоручиком. Я перестал готовиться к экзаменам как следует и получил второй скверный балл из нелюбимого мною строительного искусства.

По окончании экзаменов все мы получили повестки явиться в определенный день и час в училище. Генерал вышел к нам со списком в руках и объявил, что призвал нас выслушать наши желания и по возможности исполнить их. Я оказался первым в 3-м разряде; мне было объявлено, что перейти в верхний класс я не могу, и на мое желание поступить в Кавказский саперный батальон получил в ответ короткое сухое «не можете». Мне не пришло тогда в голову, что распределение нас по саперным батальонам не было в его власти, и казалось, что сухой отрицательный ответ на вызванное им же самим мое заявление был лишь новым проявлением его желания отомстить мне.

Через несколько дней мне и одному из моих сожителей, Постельникову, было объявлено, что мы назначены в Киев, во 2-й резервный саперный батальон.

Как только нам выдали подорожные и прогонные деньги, Постельников, я и присланный мне в течение этого года из деревни в услуги молодой парень Феофан Васильев отправились, в самый разгар петербургской холеры, в путь, на юг.

Мог ли я тогда думать, что непочетное удаление из училища было для меня счастьем? Инженером я, во всяком случае, был бы никуда не годным.

В Киеве, сапером (1848–1850)

Батальон, в который я был назначен, составлял вместе с 6-м саперным батальоном бригаду, которая летом стояла лагерем под Киевом, верстах в двух от города, а осенью уходила на зимние квартиры. На зиму в городе оставалась юнкерская школа и те из саперных офицеров, которые назначались туда учителями. К числу последних принадлежал и я; поэтому нести военную службу мне пришлось только в течение двух лагерных сборов, да и то неполных, так как мы с Постельниковым по дороге в Киев заезжали к его родителям и прибыли на место в конце июня, с опозданием на несколько дней. Начальство спустило нам эту вину со снисходительной улыбкой, и мы разместились очень удобно в лагерных бараках (не палатках). Кроме Постельникова и меня, во 2-й резервный батальон прибыл наш однокурсник Владыкин, и в 6-й саперный – Корева, так что с первых же дней мы очутились в своем обществе.

Главные наши командиры (бригадный генерал Букмекер, батальонный – полковник Кехли) не были ни служаками, ни строгими начальниками. Генерала за все время пребывания моего сапером видел я много-много раз три-четыре. Полковник наш (как, впрочем, и все семейные офицеры) жил вне лагеря, являлся перед нами только на батальонном ученье, держался далеко от своих подчиненных и был, по всем видимостям, человек благовоспитанный и порядочный: не вмешивался в батальонные дрязги, не ругался на ученьях и был со всеми безупречно вежлив. Нужно отдать справедливость и нашим ротным командирам: и они не держали себя с нами по-начальнически. Долгом считаю прибавить к этому, что в обе лагерные стоянки я не был свидетелем ни пьянства, ни крупных ссор, никакого вообще безобразия в среде офицеров, ни даже зуботычин во фронте; и только раз пришлось быть невольным свидетелем страшной экзекуции над бедным солдатом Калугиным из нашего батальона. Его гнали сквозь строй за второй побег, после того как за первый он был разжалован из унтер-офицеров и считался штрафным. Все офицеры были обязаны присутствовать при этой варварской церемонии; наш полковник, однако, сумел уклониться от присутствия, и всем распорядился на его месте командир 1-й роты капитан Ползиков. Я видел только, как руки бедняка, в штанах, с оголенной спиной, привязали не то к ружью, не то к палке, и два солдата, держа концы этой горизонтальной опоры для несчастного, повели его между двух рядов солдат с длинными хвостинами. От остального закрыл глаза и только по окончании экзекуции видел открытыми глазами следующую сцену. Распорядитель, капитан Ползиков, заметил между секущими солдата, который не ударил несчастного розгой, и как только того увезли в госпиталь, разложил виноватого перед всеми его товарищами и всыпал ему двадцать пять розог. Этот встал, натянул штаны и промолвил: «Покорнейше благодарю ваше высокоблагородие».

Нашему ученому войску следовало бы в лагерное время заниматься больше всего саперными работами, но на это посвящалось очень мало времени, потому что летом под Киевом не оставалось никаких других войск, кроме саперов, и нам приходилось занимать в городе караулы. Лично я в эти два лета занимался недели две съемкой в окрестностях лагеря и состоял при заведующем минными работами, где, однако, играл роль не деятеля, а зрителя, так как в училище практике саперного дела нас не обучали. Воспоминаний об этой деятельности у меня никаких не осталось; знаю только, что она была мне сильно не по душе, что я был очень неисправным офицером и что мои неисправности сходили мне с рук благодаря протекции нашего бригадного адъютанта поручика Тецнера. Однокашник по училищу, он, конечно, знал историю моего выхода из оногo, сам тяготился военной службой и являлся моим защитником.

Когда мы поближе познакомились с нашими новыми товарищами, между ними, в лице подпоручика 6-го батальона Василия Афанасьевича Чистякова, оказалось прелестнейшее, вытканное из незлобия и наивности существо, одинаково веселое в нищете, невзгодах и даже смертельной опасности. Существовало достоверное предание, что, отправляясь в батальон по

выходе из корпуса, он заехал по дороге, неподалеку от Киева, к бабушке, которая подарила ему на прощанье тулупчик на мерлушке и жеребеночка; вскоре по прибытии на место службы он был вовлечен новыми приятелями в карточную игру, проиграл все свои деньги и в придачу оба подарка бабушки. Карты он после этого бросил, но пришлось наделать долгов, и в конце концов бедный Василий Афанасьевич был вынужден питаться из ротного котла, так как все почти месячное жалованье уходило на оплату долгов. В таком положении мы его и застали. Вскоре мы сдружились, и он стал неразрывным товарищем нашего молодого кружка¹⁶. В течение месяца Василий Афанасьевич был, конечно, нашим гостем; но как только получалось жалованье, в ответ на наши угощения он устраивал в своем бараке бал, и мы приглашались гостями. На оставшиеся от жалованья крохи угощал он нас чаем, закуской и непременно бутылкой мадеры с графинчиком водки. Так беззаботно проживал Василий Афанасьевич до 1849 г., когда случилось следующее происшествие. Недели за три до выхода батальонов на зимние квартиры его и некоторых из нашего кружка пригласил к себе вечером на чай женатый поручик Роше. Разговор зашел о прелестях женатой жизни, и хозяин, конечно шутя, обратился к Чистякову со словами: «Что это вы, Василий Афанасьевич, не женитесь, ведь пора, и невеста у меня есть подходящая – учительница моих детей, прекрасная девушка, правда небогатая, да ведь для вас не в деньгах счастье». Василий Афанасьевич принял эту шутку, очевидно, всерьез, потому что задумался и ничего не ответил. В последовавшую затем неделю сборов батальонов к выходу на зимние квартиры мы, учителя юнкерской школы, переселились в город. Едва ушли батальоны, как до кого-то из нас дошло известие, что Василий Афанасьевич женился и все свое имущество повез в детской колясочке на денщике. Вторая половина известия прибавлялась, конечно, в шутку; но первая была верна. Василий Афанасьевич действительно женился на рекомендованной ему невесте, которая, вероятно, думала, как и жених, что не в деньгах счастье.

В первую же зиму я познакомился в Киеве с двумя семейными домами. В одном из них, с тремя молоденькими барышнями, мы, учителя юнкерской школы, играли роль молодых офицеров, имевших занимать барышень, играть в фанты и даже танцевать один раз в неделю, в назначенный день. А в другом доме, куда из товарищей вхож был я один, были положены молодой представительницей дома все основания моей будущей судьбы.

В Киеве, как в крепости, была так называемая инженерная команда, и между молодыми офицерами этой команды был наш однокурсник Безрадецкий и два, тоже знакомых по училищу товарища, офицеры М. и Х., старше нас на три года. Понятно, что как только мы узнали о прибытии Безрадецкого в Киев, а он узнал о нашем пребывании в саперах, то начались взаимные посещения. У него мы встречались с обоими старшими товарищами, и я вскоре сошелся с последними. Много ли, мало ли времени прошло после этого знакомства, не помню, но раз инженер Х. предложил мне познакомиться с его семейством, получил, конечно, согласие и свез меня к своим на Подол. С тех пор я ездил в его семью раз в неделю во всю зиму 48-го года и в первую половину следующего.

Это была обрусевшая польская семья. Отец и мать – католики, жили в молодости (он врачом) в таком русском захолустье, что детей пришлось окрестить в русскую веру. Позднее он жил долгое время в Костроме, занимаясь частной практикой; и здесь над его семьей стряслась беда. При императоре Николае Кострома была одним из ссыльных городов для поляков, и в ней случился большой пожар. Губернатор, не думая долго, заподозрил в пожаре поляков и засадил всех без исключений в острог. В число заключенных попала и рассказывавшая мне об этом событии дочь доктора, тогда 16-летняя девочка.

¹⁶ Нужно заметить, что тогда офицеры жили в разбивку, не образуя цельного товарищеского кружка наподобие того, как живут, например, офицеры-однополчане в Германии. В нашем лагере не было и помещения, где мы все могли бы сходиться вместе.

Для расследования дела был послан из Петербурга генерал Суворов (хорошо известный впоследствии петербургский генерал-губернатор); подозрение губернатора оказалось неосновательным; все были выпущены на свободу, и рассказчица получила даже от Николая Павловича бриллиантовые серьги в утешение. Незадолго до описываемого мною времени семья переехала в Киев и вела очень скромную жизнь.

В те дни, когда я бывал у них с поручиком М., мать никогда не выходила к гостям; старший сын показывался крайне редко; отец-старик появлялся лишь на короткое время; других гостей, кроме нас двоих, никогда не было; поэтому нашу вечернюю компанию, под предводительством моей двадцатилетней благодетельницы Ольги Александровны, составляли только два ее брата да мы двое.

На председательство в мужском обществе давало ей право звание замужней женщины – она была вдова, потерявшая мужа через полгода после свадьбы, – и еще более то обстоятельство, что, несмотря на юность, она была по развитию, да и по уму много выше своих собеседников. Описывать ее внешность я не буду; достаточно будет сказать, что она не была, как полька Мицкевича, бела как сметана и как роза румяна; но очи ее очень часто светились действительно как две свечки, потому что была вообще из породы экзальтированных. Всего же милее в ней была добрая улыбка, которою нередко кончались ее горячие выходки.

Училась Ольга Александровна дома, и учителями ее были исключительно мужчины; отсюда ее вкус к серьезному чтению и серьезное отношение к жизненным вопросам, с некоторой примесью озлобленности, естественно, впрочем, вытекавшей из общих условий тогдашнего существования и претерпленных ею личных испытаний. Коньком О. А. были сетования на долю женщин. В то время только что появилась в киевской продаже книга Легувэ «La femme»¹⁷; она много носилась с нею, давала ее даже нам на прочтение и никак не хотела помириться на проповедовавшейся там высокой роли женщины в семье и школе. Женщину она считала, не то шутя, не то серьезно, венцом создания и видела в ее подчиненности мужчине великую несправедливость. Путь, которым пошла впоследствии русская женщина, чтобы стать на самостоятельную ногу, был тогда еще закрыт; подчиненное положение женщины она признавала с болью в сердце безвыходным и ожидала в будущем, в общем прогрессе просвещения, лишь смягчения ее участи. Понятно, что при таких задатках образованность в мужчине и умственный труд имели в ее глазах большую ценность. Она ставила университетское образование очень высоко и считала Московский университет стоящим впереди всех прочих – имя Грановского услышал я впервые от нее. Как любезная хозяйка, нашей профессии она не касалась, но едва ли сочувствовала ей – времена были тогда для России мирные, защищать отечество нам не предстояло, и формула «готовь войну, если хочешь мира» не была еще в таком ходу, как ныне. Мысли ее шли в сторону служения ближнему, и в этом смысле она относилась очень сочувственно к профессии медика.

Я нарочно выписал эти немногие отрывки из вечерних бесед на Подоле, потому что именно они запали мне глубоко в душу. Возможно, что приведенные взгляды О.А. не возымели бы на меня большого действия, если бы высказывались с целью поучения. Но она держала себя на равной ноге с нами и высказывала свои взгляды случайно, вскользь, среди обычных общих разговоров и споров, сохраняя лишь неизменно облик живой, увлекающейся, умной и образованной женщины. Нужно ли говорить, что поучения ее, сверх их действительной ценности, запали мне глубоко в душу еще потому, что я в нее влюбился.

Любовь свою я скрывал столь тщательно, что за все время знакомства не встретил ни на чьем лице из присутствовавших ни единой подозрительной улыбки. Вернее, впрочем, то, что всем вечерним собеседникам – ей, ее брату и М. – моя тайна была известна; но они смотрели на меня справедливо, как на мальчика (мне шел во время этого знакомства 20-й год), который

¹⁷ «Женщина» (фр.).

умел держать себя прилично и которому первая юношеская любовь полезна. Это я заключаю из того, что О.А. была всегда очень ласкова со мной, а в ее женихе М. не было никаких проявлений ревности: вплоть до ее отъезда из Киева мы продолжали ездить с ним ежедневно на Подол, туда и назад вместе. Не знаю, смог ли бы я выдержать характер, если бы знал, что езжу с женихом; но это было от меня скрыто, и я не догадался даже тогда, когда вслед за отъездом О.А. узнал, что М. уехал из Киева в 4-месячный отпуск. Уезжала она, по ее словам, ненадолго, и, прощаясь с нею, я думал, что поскучать придется недолго.

Прошло несколько месяцев, в течение которых я, очевидно, жил ожиданиями ее возвращения. Время подходило к Рождеству. Сiju я раз за картами со своими товарищами по юнкерской школе и слышу вдруг восклицание кого-то из них: «А знаете ли, г-жа имярек вышла замуж за М., и на днях они будут здесь!» Тут я смутился и выдал себя каким-то несообразным ходом; но меня пощадили, словно не заметили, и игра продолжалась без дальнейших разговоров на эту тему. Через несколько дней молодые действительно приехали, и я был у них с поздравительным визитом. Но меня грызла, видно, ревность, прием показался мне парадным, натянутым, и я уехал с решением быть у них только еще раз на прощанье.

Вслед за этим я подал в отставку. По справкам оказалось, что я мог взять увольнительное свидетельство до получения указа об отставке; в Киеве оставаться мне не хотелось, но денег в кармане у меня было очень мало, и просить их из дома я не считал себя вправе. К счастью, один из моих товарищей, Владыкин, был человек состоятельный и, уезжая в эти дни домой в отпуск, обещал мне дать взаймы двести руб. К еще большему счастью, наш бригадный адъютант Тецнер, узнав обо всем этом, предложил мне деньги тотчас. Он сам собирался тогда покинуть военную службу и сочувственно относился к моей отставке. С деньгами в кармане я получил возможность скинуть военную форму и приехал прощаться с О.А. уже в штатском платье. В этот раз прием был дружеский, меня искренне поздравили с тем, что я оставляю мало обещавшую службу, сочувственно отнеслись к намерению учиться и пожелали мне всяких успехов.

Так кончился киевский эпизод моей жизни. Выше я назвал Ольгу Александровну моей благодетельницей, и не даром. В дом ее я вошел юношей, плывшим до того инертно по руслу, в которое меня бросила судьба, без ясного сознания, куда оно может привести меня, а из ее дома я вышел с готовым жизненным планом, зная, куда идти и что делать. Кто, как не она, вывел меня из положения, которое могло сделаться для меня мертвой петлей, указав возможность выхода. Чему, как не ее внушениям, я обязан тем, что пошел в университет – и именно тот, который она считала передовым! – чтобы учиться медицине и помогать ближнему. Возможно, наконец, что некоторая доля ее влияния сказалась в моем позднейшем служении интересам женщин, пробивавшихся на самостоятельную дорогу.

В начале февраля 1850 года мы с моим милым слугой Феофаном Васильевичем отправились из Киева в наше родное гнездо, с. Теплый Стан. По дороге туда завернул в Чембарский уезд Пензенской губ. и погостил недельки две у Владыкина. Милый Владыкин, зная, что мне предстоит во время учения жить на небольшие средства из дома, уговорил меня выплачивать ему долг маленькими порциями, и долг был выплачен в три года.

Мать встретила отставного прапорщика со слезами, но без единого слова упрека. Она, по ее словам, всегда желала, чтобы кто-нибудь из сыновей пошел по «ученой части», и, зная из моих писем, что я оставляю службу, с тем чтобы идти в университет учиться, мирилась с моей отставкой. Соседи смотрели на этот поступок иначе. Старик Филатов в поучение мне рассказал о своей неудаче на медицинском факультете и закончил рассказ, как теперь помню, следующим двусишим:

Профессоров и лекарей
Душа моя ненавидит, как лютых зверей.

Другой сосед, А.П. П., говорил прямее: «Чего, кума, смотреть на молодчика; пусти его, коли не любит военную службу, по гражданской; наш симбирский губернатор возьмет его, может быть, чиновником особых поручений, благо он у тебя боек, не глуп и знает языки». К довершению всего младший сын Филатова, Николай, учившийся вместе со мной в инженерном училище, кончил курс в верхнем офицерском классе с отличием, поступил в гвардейские саперы, женился в Петербурге на дочери «важного штатского генерала» и имел приехать в это самое лето с молодой женой в тот же Теплый Стан. Как было не болеть сердцу бедной матери! Но вначале она сумела скрыть от меня свое огорчение, а потом, вероятно, поверила моему намерению учиться серьезно и успокоилась. Вскоре мы сделались такими друзьями, что она стала верить мне стороны своей прошлой жизни, которыми ей нельзя было делиться с дочерьми.

Без указа об отставке ехать в Москву было нельзя, а указ не приходил до начала октября. Помню, что дня за три до отъезда стал падать снег, установился санный путь, и я с моим неизменным слугой доехал до Москвы на санях. На городской заставе нужно было предъявлять паспорт. Его вынес из караулки старый чиновник и, подавая мне бумагу, покачал головой со словами: «Эх, господин прапорщик, послужили без году неделю да в столицу прожигать родительские денежки».

В Московском университете (1850–1856)

Остановились мы на каком-то подворье, недалеко от Охотного ряда, и почти сейчас же отправились вдвоем отыскивать квартиру поблизости к университету. Нашли квартиру в Хлыновском тупике, в церковном доме Николы Хлынова, у пономаря этой церкви. Квартира была в первом этаже и состояла из двух комнат: полутемной прихожей и кухни вместе и комнаты в два окна, с окнами в переулок. Последняя комната была разделена сплошной перегородкой, и в одной половине ее поселился я, а Феофан Васильевич в той части первой комнаты, которая служила прихожей. Он был башмачник по ремеслу, но в Киеве наживал деньги набивкой папирос для офицеров. Здесь же, вскоре после нашего прибытия, в его комнате завелись все принадлежности башмачного искусства, и он засел за башмаки для церковных дам Николы Хлынова. Шил он, очевидно, очень дешево и крепко и сумел, вероятно, услужить хозяевам чем-нибудь другим, потому что хозяйка взялась варить нам немудрый обед из нашего материала бесплатно. Для меня это было очень важно, потому что в этом и следующем году приходилось очень экономить – из 300 р., получавшихся от матери, нужно было вносить в университет 50 р., уплачивать часть долга Владыкину и покупать книги (помню с достоверностью, что в первый же год у меня были анатомический атлас Бока и зоологический Бурмейстера). Не знаю, как ухитрился Феофан Васильевич – забота о прокормлении лежала на нем, – но еда нам обоим в течение месяца обходилась редко дороже пяти рублей¹⁸.

Весь этот год я находился в сильно повышенном настроении, ходил только на лекции в университет, а дома сидел за книгами до позднего вечера. Единственное окно моей полуконаты выходило в переулок и было настолько низко от земли, что ребята повадились заглядывать ко мне с улицы в окно. Это побудило меня завесить нижнюю часть окна занавеской, и она не снималась вплоть до переезда на другую квартиру. Помню, что эта неважная обстановка несколько не тяготила меня – был постоянно занят, сыт, и комната была теплая. Куда хуже живут и теперь многие студенты.

Когда я пришел в канцелярию университета с вопросом, что делать, чтобы меня приняли студентом на медицинский факультет (в октябре!), мне, конечно, ответили, что теперь, подав просьбу ректору, я могу записаться лишь вольным слушателем, а в студенты могу быть зачислен лишь в будущем году по выдержании вступительного экзамена. Нечего делать, поступил вольным слушателем с мыслью посещать лекции первого курса и готовиться исподволь к вступительному экзамену. Анатомию читал тогда профессор Севрук ежедневно с 8 до 10 утра; поэтому первая лекция, на которую я пришел, была его. Прихожу и слышу, к немалому моему огорчению, что он читает по-латыни. Меня это, конечно, озадачило, потому что в памяти из детских лет осталось только умение читать по-латыни, склонение таких простых вещей, как mensa, да разве нескольких времен из глаголов. Вскоре, однако, опасения рассеялись, когда я приобрел учебник анатомии и атлас; особенно же, когда дело дошло на лекциях до миологии¹⁹, потому что здесь все дело сводилось на описание начала и конца мышц в неизменно повторяющейся форме.

Как бы то ни было, но пришлось подумать об изучении латинского языка, а в какой степени нужно было изучить его для вступительного экзамена и для дальнейших университетских лекций, я не знал. Выручило меня из этого затруднения знакомство со студентом филологом

¹⁸ Обед мой, впрочем, соответствовал такому расходу: два раза в неделю щи с куском говядины, в прочие дни: 6 яиц всмятку, колбаса, гречневая каша с молоком, картофель с квасом и огурцами. Чай я пил только раз в две недели после бани, а утром съедал калач из муки 2-го сорта. Изредка лакомился яблоком-боровинкой, и вкус к этому яблоку сохранился у меня доселе.

¹⁹ Миология – учение о мышцах, научная дисциплина, изучающая строение, развитие, свойства и функции мышц в норме и при патологии. Современная миология входит в сферу анатомии, физиологии и клинической медицины.

Дм. Визаром, научившим меня, как приняться за дело. Он был в одно из предшествующих лет в наших краях на кондичии в семействе, знакомом моим домашним, и я встретился с ним у другого студента, юриста Самойлова, родственника тех, где он учил. Оба они приняли, конечно, участие в желавшем учиться отставном инженере, и я стал бывать у них. Отец Дмитрия Визара, старик француз, был учителем французского языка в институте при воспитательном доме, имел казенную квартиру и жил с двумя старшими сыновьями и двумя дочерьми, а мать держала маленький пансион около Донского монастыря и жила в тех краях с младшим сыном. С этой семьей я прожил в величайшей дружбе все шесть лет моего пребывания в Москве и обязан ей очень многим. В их доме довершилось, можно сказать, мое воспитание, начатое в Киеве Ольгой Александровной.

Главой дома был старший брат, добрейший, благороднейший Владимир Яковлевич, – по смерти отца у него остались на руках сестры, молоденькие девушки, приготовлявшиеся дома к экзамену на звание домашней учительницы. Я застал его уже чиновником, служившим, по окончании университета, в опекуновом совете, но без малейшего чиновнического отпечатка. Живой, бодрый, неизменно веселый, он, как истинный глава семейства, был примерным для нас скромником во всех отношениях; очень любезен с дамами, но по-братски, без малейшего намека на ухаживание; и настолько заботился о своих сестрах, что одна приятельница их семьи называла его не иначе, как мамаша. У себя дома, в кругу приятелей, он действительно походил на милую, добрую, веселую хозяйку. Единственной его мужской страстью была охота с ружьем.

Дмитрий Визар был совсем другой человек. В сущности, такой же добрый, как брат, но без его девической чистоты и мягкости, он принадлежал к тому типу нервных, неуравновешенных людей, которые способны впасть в крайности – от мрака переходить к порывам веселья, от серьезного дела к кутежу. Будучи слушателем на филологическом факультете, составлявшем тогда красу и гордость Московского университета, он учился с увлечением, зачитывался книгами и готовил себя к ученой карьере. А университет играл тогда в Москве очень видную просветительную роль, и Москва его любила – не то, что ныне, когда университет стараются оградить от общества китайской стеной чиновничьих регламентов.

Музыка была представлена в этом доме учительницей старшей сестры²⁰, госпожой Протопоповой, очень хорошей музыкантшей, вышедшей впоследствии замуж за А.П. Бородину, химика и автора «Игоря». Наконец, литература была представлена вхожим в дом Аполлоном Григорьевым.

Легко понять, что знакомство с такой семьей было для меня большим счастьем, особенно если принять во внимание, что медицина тогдашнего времени как наука содержала в себе очень мало культурного.

Лето 1851 г. я прожил в Хлыновском тупике, готовясь к вступительному экзамену. В латыни преуспел настолько, что, прочитав почти все «Метаморфозы» Овидия, обращался к Визару за помощью лишь изредка. По истории готовился по учебнику Лоренца, который был дан мне кем-то на столь короткий срок, что я должен был делать из него выписки. Занятия эти отняли вообще столько времени, что я уже давно свыкся с мыслью поступить на 1-й курс.

Из маленьких эпизодов на экзамене помню следующие. По истории экзаменовал Грановский; отвечал я, должно быть, неважно: экзаменатор все время молчал и поставил мне 4. По русскому языку требовалось написать сочинение на тему «Любовь к родителям». Я написал о значении матери для Шиллера и Гете. Экзаменатором был Буслаев. Прочитав мое сочинение, он спросил, читал ли я Гете и Шиллера, и, получив удовлетворительный ответ, поставил мне 5. Из математики экзаменовал проф. Зернов. Помню, что я вытянул билет о подобии треуголь-

²⁰ Леонида Яковлевна, тогда молоденькая красивая девушка, большая моя приятельница, вышедшая потом замуж за моего товарища Владыкина, изучавшая потом в Берне медицину, вернувшаяся оттуда доктором и занимавшаяся медицинской практикой в Москве.

ников. В эту минуту подле Зернова сидел тогдашний декан медицинского факультета Анке, который имел неосторожность заметить: «Что экзаменовать г. Сеченова, ведь он инженер». На это Зернов осерчал: «Если хотите, я экзаменовать не буду». Анке, конечно, поспешил исправить ошибку, и условия подобия треугольников были изложены удовлетворительно. Из латыни заставили перевести несколько строчек из Саллюстия.

По окончании экзамена мы с Феофаном Васильевичем перебрались на новую квартиру на Патриаршем пруду в доме с мезонином. Квартира наша состояла из двух комнат и передней, моя выходила окном на пруд. Когда, после года жизни в полутемной комнате, успокоенный от экзаменационных тревог, я открыл впервые это окно, Патриарший пруд показался мне, я думаю, краше виденных впоследствии швейцарских и итальянских пейзажей. Помню, что окно это долго служило для меня источником наслаждений, и благодаря этому в памяти сохранилось несколько лиц, гулявших ежедневно по аллеям вокруг пруда. Помню, например, соседа по дому, г. Кутузова, человека средних лет, с военной выправкой, гулявшего всегда с хлыстом в сопровождении бульдога, Гришки по имени; помню цыганок, гулявших в ярких нарядах, и между ними одну прямо-таки красавицу. К женскому полу я был тогда равнодушен – голова была сильно занята другими вещами, да, в сущности, я все хранил в душе киевские воспоминания.

Очень оригинальна была моя третья квартира в одном из переулков, выходящих на Б. Никитскую. Хозяин ее был лежавший в параличе князь Голицын. Из своей маленькой квартиры он отдавал одну комнату (в которой жил я) и кухню (в которой жил мой слуга). Князь был в таком стеснительном положении, что в лавке, откуда бралась провизия для его стола, ему уже ничего не давали, и он питался исключительно чаем, так как булочная еще не закрыла для него своих дверей. Плата за квартиру была, конечно, помесечная и вперед. Тем не менее вскоре после того, как я поселился у него и заплатил должное вперед, получаю от него записку на французском языке, где с большими извинениями бедный князь просит дать ему в счет будущего 5 руб. Желание его было исполнено, и я узнал в этот день, что он посылал в английский клуб за варенцом. Стряпала нам жившая при князе прислугой женщина и была, по всем видимостям, довольна – все же перепали ей время от времени, вместо неизменного чая с хлебом, кусок говядины, молоко, яйца и картофель.

В течение этого года была выплачена последняя часть долга Владыкину, и с переходом на 3-й курс я стал богатым человеком благодаря укоренившейся привычке жить экономно.

Теперь расскажу, как нас учили на первых двух курсах.

Кроме анатомий и богословия, на 1-м курсе преподавались одни естественные науки: физика, химия, ботаника, зоология и минералогия.

Профессор анатомии Севрук был анатомом старого закала. Читая по-латыни, он не мог, конечно, вдаваться в рассуждения; гистологию (тогда отдельной кафедры гистологии еще не существовало) не только оставлял в стороне, но даже относился к ней скептически; поэтому он неизменно оставался в сфере точного описания макроанатомических подробностей человеческого тела. В этих пределах он был хорошим преподавателем и – что очень важно – прочитывал в течение года все отделы анатомии с одинаковой подробностью (не так, как это делается теперь); потому-то к следующему году его слушатели были уже приготовлены к занятиям анатомической практикой по всем отделам анатомии.

Богословие читал очень важный с виду священник университетской церкви, протоиерей Терновский, считавшийся ученым богословом, – он написал учебник, в котором богословские тезисы, выводимые из Священного Писания, подкреплялись доводами разума. На лекциях он зорко следил за благочинием своей многочисленной аудитории – его слушали первокурсники всех факультетов разом. На одной из лекций рассказывал нам о грехопадении прародителей; и вдруг среди общей тишины раздается шелк.

«Господин Малинин, – прерывает свою речь протоиерей, – я рассказываю вам о событии, столь пагубно отразившемся на судьбах человечества, а вы грызете орехи. Извольте идти вон». На экзамен из его предмета приехал в этом году (1852) митрополит Филарет. О его приезде знали, вероятно, наперед, потому что в аудитории, где происходил экзамен, его прихода ждали несколько посторонних лиц и между ними историк С.М. Соловьев, чтобы подойти под благословение знаменитого владыки.

Физика (проф. Спасский, автор «Климата Москвы») читалась очень элементарно, в один год, и с очень малым количеством демонстраций, потому что аудитория не была приспособлена к этому: в большом зале, без амфитеатра для слушателей, стоял на большом возвышении небольшой стол и больше ничего. Учились мы по учебнику Ленца.

В той же аудитории и за тем же столом восседал добрейший профессор ботаники Фишер фон Вальдгейм. Читал он невыразимо скучно, по какому-то древнему французскому учебнику, и, в противность протоиерею Терновскому, относился к порядкам в аудитории индифферентно. На лекции к нему ходило, вместо ста человек с лишком, не более десяти – пятнадцати; его добротой немилосердно злоупотребляли на экзамене, отвечая не по вытянутым, а по собственным билетам.

Зоологию преподавал нам адъюнкт Варнек. Читал он просто и толково, останавливаясь преимущественно на общих признаках принятых в зоологии отделов, и описанию одноклеточных предпослал длинный трактат о клетке вообще. Последнее учение падало, однако, на неподготовленную почву – Москва еще не думала тогда о микроскопе; поэтому между студентами Варнек не пользовался успехом, а в насмешку они даже прозвали его клеточкой²¹.

Тогда восторги были обращены в сторону проф. зоологии Рулье, который любил философствовать на лекциях и читал очень красноречиво.

Минералогия читалась Щуровским, без кристаллографии и в таком виде, что о его лекциях ничего не осталось в памяти.

Практическими занятиями в анатомическом театре заведовал добрейший прозектор Иван Матвеевич Соколов (Севрук на эти занятия не заглядывал). Я и двое товарищей по курсу, Юнге и Эйнбротт, занимались у него не только по утрам, в назначенные для всех часы, но и по вечерам, что допускалось. Вечером вместе с нами работал и сам Ив. Матв., приготавливая препарат к следующему дню на лекцию Севрука. Делу своему он предавался с большой любовью, отделял препараты с величайшей тщательностью, стараясь придавать им красоту, с каковой целью отпрепаровывал налитые кровеносные сосуды до едва видимых глазом веточек и смазывал мышцы кровью. Был вообще, как прозектор того времени, на месте. По выслуге Севрука сделался профессором анатомии и даже читал один или два года физиологию, но, прослужив двадцать пять лет, не был избран на пятилетие и остался без дела. В этом положении он поехал в Петербург хлопотать о месте и, будучи без всяких связей, обратился к Боткину и ко мне (мы были тогда профессорами медицинской академии) с просьбой помочь ему в приискании места. К своей просьбе бедный Иван Матвеевич прибавлял: «Привыкнув всю жизнь мою анатомировать, я полез на стену, когда остался без дела; от скуки начал даже анатомировать жуков и тараканов».

Кроме практических занятий по анатомии, нам читали на втором курсе органическую химию, сравнительную анатомию, физиологию, фармакогнозию, общую патологию и терапию и, кажется, на этом же курсе, энциклопедию медицины.

Сравнительную анатомию и физиологию читал профессор Иван Тимофеевич Глебов, человек несомненно очень умный и очень оригинальный лектор. Излюбленную им манеру излагать факты можно сравнить с манерой судебного следователя допрашивать обвиняемого:

²¹ Много позднее я узнал, что Варнек и известный ботаник Ценкоэский были из числа первых русских биологов, работавших в те времена с микроскопом.

именно, существенный вопрос, о котором заходила речь, он не высказывал прямо, а держал его в уме, и к ответу на него подходил исподволь, иногда даже окольными путями. Как человек умный, свои постепенные подходы он вел с виду так ловко, что они получали иногда характер некоторого ехидства. Таков же он был и на экзамене, вследствие чего студенты боялись его как огня – мне даже случилось раз видеть на экзамене одного из своих товарищей спрятавшимся под скамейку, чтобы не быть вызванным после погрома, претерпенного его предшественником²². Ехидная манера экзаменовать была нам, конечно, не по сердцу; но соответственная манера читать лекции не могла не нравиться, и лично для меня Иван Тимофеевич был одним из наиболее интересных профессоров. Из сравнительной анатомии вам сообщались лишь отрывки (органы пищеварения, кровообращения, дыхания и локомоции); но они сами по себе, как вся вообще сравнительная анатомия, настолько красивы и излагались настолько ясно, что на 2-м курсе я мечтал в будущем не о физиологии, а о сравнительной анатомии. Дело другое, если бы Ив. Тимоф. читал физиологию по знаменитому учебнику Иоганна Мюллера; но этого не было. Это я заключаю из того, что в его лекциях и помина не было о том, что физиология есть прикладная физикохимия, а также из того, что лягушка не являлась на демонстрациях и ничего не говорилось об электрическом раздражении нервов и мышц, хотя Германия давно уже была полна этих опытов (в 1850 г. явилось знаменитое измерение скорости распространения возбуждения по нерву великого Гельмгольца). Из его лекций мы не узнали даже такого факта, как остановка сердца возбуждением бродящего нерва. Единственные опыты, которые остались у меня в памяти: убитая на наших глазах вдвуханием воздуха в вены собака, демонстрация на ней млечных сосудов и длинный ряд голубей с булавочными проколами головного мозга (проколы производились ассистентом Глебова Орловским), которые раздавались нам, с тем чтобы мы описывали произведенные операцией нарушения локомоции и чувствительности.

Фармакогнозию читал проф. Лясковский и, вероятно, скучал на этом мало занимательном для него предмете (он, как известно, учился за границей, в Гиссене у Либиха, и занимался у него проверкой протеинной теории Мульдера), потому что прочел нам с демонстрациями полный курс качественного анализа.

²² В этом году много разговоров между студентами возбудил экзамен у Глебова на звание доктора младшего прозектора по анатомии Б. Вытянул он очень простой билет – о свертывании крови, но, должно быть, сильно оробел, потому что, сказав: «Если возьмем палочку» (этими словами начинался в записках Глебова трактат о свертывании крови), замолчал и не смог ответить на последовавшие затем два вопроса профессора: что же будет, если взять палочку, и что будет, если не взять палочку. Не получив ответа на последний вопрос, профессор показал в списке рядом с фамилией единицу и сказал ему: «Вот что будет».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.